

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

1

1997

НОВЫЙ МИР

1997



# НОВЫЙ МИР

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1(861)

Январь, 1997 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

### СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Проплывшим вдвоем, стихи                                                                | 3   |
| ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ — Прохождение тени, роман                                                                  | 7   |
| ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Я купил двух горлиц, стихи                                                             | 72  |
| БУЛАТ ОКУДЖАВА — Автобиографические анекдоты                                                               | 78  |
| ТАТЬЯНА БЕК — До свидания, алфавит, стихи                                                                  | 93  |
| ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО — В синем шаре, стихи                                                                   | 96  |
| А. СОЛЖЕНИЦЫН — Крохотки                                                                                   | 99  |
| <b>НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ</b>                                                                                      |     |
| ИНГМАР БЕРГМАН — Исповедальные беседы. Перевела со шведского А. Афиногенова                                | 101 |
| <b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>                                                                                   |     |
| БОРИС ЕКИМОВ — В снегах                                                                                    | 158 |
| <b>ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА</b>                                                                        |     |
| Ю. КАГРАМАНОВ — Демократия и культура                                                                      | 168 |
| <b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>                                                                                    |     |
| А. СОЛЖЕНИЦЫН — «Голый год» Бориса Пильняка. Из «Литературной коллекции»                                   | 195 |
| <b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>                                                                              |     |
| ЕКАТЕРИНА КРАШЕНИННИКОВА — Крупницы о Пастернаке                                                           | 204 |
| ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ — Медленно исчезающее в зеленой траве. Публикация и перевод с немецкого Бориса Соколова | 214 |
| <b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>                                                                                |     |
| О. НОВИКОВА, ВЛ. НОВИКОВ — Зависть. Перечитывая Валентина Катаева                                          | 219 |
| <i>Борьба за стиль</i>                                                                                     |     |
| ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ — Роман воспитания                                                                      | 224 |
| <b>РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ</b>                                                                                    |     |
| Лиля Пани. Новые сведения о Левлосеве                                                                      | 227 |
| Александр Закуренко. «Киевская школа»: вступительный или выпускной экзамен?                                | 232 |
| Марина Новикова. Встреча                                                                                   | 237 |

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Юрий Кублановский. — Инталия. Стихи и воспоминания бывших заключенных Минлага                                                     | 240 |
| Татьяна Касаткина. — Пегас ворвался в класс. Стихи, рассказы, сочинения, сказки, афоризмы и рисунки школьников Красноярского края | 241 |
| Евгений Ермолин. — Ирвинг Кристол. В конце II тысячелетия. Размышления о западной цивилизации. Статьи 1970-х — 1990-х годов       | 242 |

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| А. КОМЕЧ — «Реконструкция» Москвы продолжается. Послесловие С. П. Залыгина | 244 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|

### ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| С. Ларин. — Тадеуш Климович. Путеводитель по современной русской литературе и ее окрестностям | 248 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### БИБЛИОГРАФИЯ

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Книжная полка (составитель Сергей Костырко) | 251 |
| Периодика (составитель Андрей Василевский)  | 252 |
| SUMMARY                                     | 256 |

### УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



## «ГОЛЫЙ ГОД» БОРИСА ПИЛЬНЯКА

*Из «Литературной коллекции»*

*После моих 70 лет найдя, наконец, первый досуг от сбора материала для «Красного Колеса», я стал перечитывать некоторых писателей или отдельные произведения русской литературы XIX и XX веков. И вскоре испытал потребность записывать свои обновившиеся впечатления. Я делал это — для себя, без мысли о печатании. Но видя, вот, как ныне выглаживается память о многих примечательных наших книгах, — я склонился напечатать иные из этих заметок, однако уже ничего не меняя в них.*

*Заметки эти — вовсе не критические рецензии в принятом смысле, служащие оценке произведения в потребность современному читателю. Каждый такой очерк — это моя попытка войти в душевное соприкосновение с избранным автором, попытаться проникнуть в его замысел, как если б тот предстоял мне самому, — и в мысленной беседе с ним угадать, что он мог ощущать в работе, и оценить, насколько он свою задачу выполнил. (А ещё: зорко примечаю лексику автора и в заключение обычно привожу два-три десятка слов и выражений, которыми он в этой книге отчётливо расширил наш скудеющий языковой поток.)*

*Сейчас я предложил редакции «Нового мира» несколько таких очерков. (В дальнейшем, очевидно: о Тынянове, Пантелеймоне Романове, Замятине, Шмелёве, Марке Алданове, Глебе Успенском, Андрее Белом.)*

**Г**ОЛЫЙ ГОД. Почему так названо? Вначале думаешь: год — голодный? год — нищий для страны? Оказывается, нет: голый — как обнажение человеческих инстинктов (а затем — и тел).

Но и даже это нарушено композицией: в этот описываемый 1919 год — на  $\frac{2}{5}$  объёма повести вдвинуто разоблачение старого дворянского быта и вообще старой России (Вступление, гл. 1 и 2). В книге, написанной с задачей предельной новизны — и наблюдений, содержания и художественных приёмов, — как же можно было так поддаться этой настрывшей, надоевшей старизне «освободительной идеологии»? Ничего не поделаешь, время — клонит головы авторов, очень не каждый устаивает против этого нагнутия. Слишком затянута это присловье: разоблачение бар и традиционного российского быта.

Это — уже разваливает композицию. А потом оказывается, что автор и не задаётся ею, единой. Общего сюжета почти нет, только пунктиром, а — чередуются отдельные яркие эпизоды, соединённые повторами, повторами фраз и даже фрагментов, музыкой этих повторов и картинami природы (тоже сплошь повторными, нарочито). Такая отдельность глав и подглавок, как если б и вообще не задумано единого повествования. (Замятин писал: повести Пильняка можно разрезать на куски как дождевого червя, и каждый кусок поползёт своей дорогой.)

Но несмотря на эту фрагментарность, несплошность повествования — оно сохраняет несомненную ёмкость смысла и значительное богатство содержания, так что — эксперимент несомненно удачный. (Ахнешь: и как же за 20 лет

наша проза ушла от Чехова!.. — но ведь поправимо же?) Пильняку казалось, что описать *этого* и нельзя иначе? Написал он — уже в 1920, по свежему следу (ещё и не миновавшей) эпохи — живые впечатления. А всего-то — в свои 26 лет, хорошо.

### РАЗОБЛАЧИТЕЛЬСТВО СТАРОГО.

Ордынин-город — вполне зубоскальное (интеллигентски традиционное) изображение дореволюционной российской провинции — паноптикум уродств. Насмешливое обобщение её ещё со времён Николая I, повторение всяческих басен, даже и архитектура — «холуйская». (Впрочем, разок мелькает и «красота пятивековых церквей».) Неустанное перебалтывание прошлого — конечно, развратного, конечно, предельно уродливого: усвоен разоблачительный заказ эпохи (и тем сразу создаётся пьедестал для революционеров и большевиков). А война 1914 года? — «собирали людей, учили их ремеслу убивать», и — всё о ней. (О гражданской войне — такого, конечно, не вымолвить, особенно с красной стороны.)

У князей Ордыниных тот прежний разоблачённый быт — как будто продолжается и после революции: ни дом не отобран? ни добро? Впрочем, добро старинного рода «грабленное, должно быть?», да и сегодня: гниющая одежда в сырой кладовой. Соответственно тому и семейка: княгиня — насквозь сатирично подана, она и нелепа, и неграмотна, и скрупулёзно скупа, от неё — «смрадный запах нечистого жирного человеческого тела», говорит басом, и ещё раз: из её спальни «пахнет несвежим человеческим телом». И на самом доме — «каинова печать», и внутри дом тёмн и переполнен нелепой, громоздкой, ненужной мебелью. А князь ещё и днём создаёт себе ночь, закрывает гардины — и аскетически изматывает себя за прошлые грехи и преступления; и всё это — в полубезумном экстазе. — При том группируются три сына — увы, эта группа очень отдаёт тремя братьями Карамзовыми, например — бунт Бориса против родителей и вообще против всего, сцена с отцом — прямо из Достоевского. Только всё это выламывание и самообзоры душ, извержение сентенций и поиски святой истины (Глеб, — «Борис и Глеб» — неслучайный подбор имён) и юродивость (Егор, ему с чего-то хочется играть на рояле «Интернационал» — и тут же прямая сноска на Верховенского) — как-то уже не впечатляют на фоне размахнувшейся революции. Да в них и нет морального поиска, они нанизаны всё для той же цели разоблачения старого. И в довершение — наследственный сифилис в семье, и Борис — конечно же, товарищ прокурора — кончает с собой. Три брата — ярки (хотя и дерзко так строить после Достоевского), но затем ещё и несколько маловыразительных сестёр — это уже занудно: одна — морфинистка, истеричка, прожжённая жизнь, другая (Наталья) гордо уходит в революцию: «Дом [родительский] всё равно умрёт, он умер. А я должна жить и работать» — и сходится с красным расстрельщиком Архипом (неясно, куда дела прежде имевшегося ребёнка). «Я слишком много училась, чтобы быть самкой романтического самца». И до чего же это всё не ново...

Так — семья расправляется сама с собой (непонятно, почему большевики за два года никого из них не арестовали?).

Ещё отдельно от семьи — брат князя Кирилл Ордынин, бывший кавалергард, теперь архиепископ, он же именуется «попик» (можно думать: этот сюжет перехвачен от Пильняка Ильфом-Петровым). Почему-то не изгнанный большевиками из монастырской кельи, всё пишет летопись — и ниспровергательно трактует революцию. А сам он рисуется так: «Лицо попаика просалено замшей, в серых волосиках, глазки смотрят из бороды хитро и остро, из бороды торчит единственный пожелтевший клык, и голый череп как крышка у гроба... Хитренький...»

РЕВОЛЮЦИЯ воспринимается автором романтически-захваченно, безоглядно захваченно. «Не майская ли гроза революция наша? не мартовские ли воды, снесшие коросту двух столетий?» И, разрываясь в выборе наиболее подходящего образа: «Революция пришла белыми мятелями и майскими грозами». — «В России сейчас сказка. Революцию творит народ; революция началась как сказ-

ка. Разве не сказочен голод и не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города?» (чех Баудек). — Ну, конечно: революция — «творчество всегда разрушает». Это — «народный просёлочный Бунт»; и будто не со столицей началась революция, а «на окраинах разгоралось новое холодное багряное возрождение» — и опять же: мотив о гибели старого мира. Эту теорию, кроме самого автора, наиболее настойчиво повторяет архиепископ Сильвестр: «Леший за дело взялся, крепкий, работающий. Кожаные куртки. С топорами. С дубинами. Мужик». — И иконописный Глеб Ордынин, сам рисующий Богоматерь, вторит дяде: «Сейчас же после первых дней революции Россия бытом, нравом, городами — пошла в семнадцатый век». «В России не было радости, а теперь она есть». «Бунт народный — к власти пришли и свою правду творят — подлинно русские подлинно русскую. И это благо!» И с сожалением: «Интеллигенция русская не пошла за Октябрём». И антипод его, брат, гневный Борис, в укор отцу: «А над землёй, пока вы спасаетесь, люди справедливость свою строят, без бога, бога к чертям свинячьим послали, старую ветошку!..» «Народ рылу свою покажет, показал, — бунт!» (знахарь Егорка). А Сильвестр и дальше: «Власть свою взяли, государство строить своё начали, — выстроят. Так выстроят, чтобы друг другу не мешать, не стеснять»; «а православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью... Мощи вскрывали — солома?.. Жило православие тысячу лет, а погибнет, а погибнет — ихи-хи-хи! — лет в двадцать, в чистую, как попы перемрут», «будет, поврали!». — И, в подтверждение, устами народными: «Нет никакого интернационала, а есть народная русская революция, бунт — и больше ничего. По образу Степана Тимофеевича». «А правда и радость всё-таки восторжествуют! Не могёт как иначе». В другом месте вывод: «Народ без истории, — ибо где *история* русского народа?»

И на закончание снова от автора: «Россия. Революция. Мятель». (Образ революции-мяти, очевидно, родился у него *одновременно* с Блоком?) Через всю повесть погодные явления и текут — то перекликаясь с революционными, то и превосходя их. (В слитие с погодой — и легенды старинных мест: гора Увек.)

Итак, основная сквозная мысль о революции: она есть натуральный стихийный бунт русского народа. Но и её — так же, насквозь через повесть, перехлёстывает мысль другая, ещё более важная для автора: сама стихия народа, его земляная (и половая) сила — и гармонируют с революцией, но ещё и сильнее и вечнее её. «Броситься к первой женщине, быть сильным безмерно и жестоким, и здесь, при людях, насиловать, насиловать, насиловать!» Так что революция — не социальное и историческое явление, а скорей — прорыв человеческих инстинктов. «Теперьшие дни — разве не борьба инстинкта?!» — и это не просто проходная мысль, но направление всего истолкования революции, и в это толкование вливаются самые «земляные, нутряные» персонажи — знахарь Егорка, Арина (она — дочь его, потом любовница и жена) и сектанты-конокрады. «Всякая женщина — неиспитая радость». (В 1923 журнал «На посту» оценил повесть Пильняка так: оклеветал революцию, представил её как «половое помешательство».)

Ещё отдельным — и характерным, да, — проявлением революции показана нам коммуна анархистов, захватившая дворянское имение. Но, во-первых, здесь хронологический сбой: анархистов большевики разгромили в 1918, исключая пока Украину, и в 1919 году в северо-русском районе такая кучка не могла уже блаженствовать. Во-вторых, ещё от начала 1917 всякий анархистский захват какого-либо ценного здания вёл прежде всего к разграблению его — а здесь: идилически сохраняемая обстановка поместья и честный, даже надрывный труд анархистов на земле — промах автора? или сознательный скрыв для вымечтанного идеала: «Мечта о правде нищенства, о справедливости... ничего не иметь, от всего отказаться, не иметь своего белья. Пусть в России перестанут ходить поезда, — разве нет красоты в лучине, голоде, болезнях?» И — до чего же мирный уголок для лет гражданской войны — где обжиг её и «военного коммунизма»? Мобилизации в Красную армию? «Все испивали покой и радость». «Бунтовали казаки, украинцы, поляки, — и это казалось неважным» (кстати, и поляки — это уже 1920, приблизительность мазка). Да пуще того, самое серьёзное дело для себя нашли: археологические раскопки... — химера какая-то.

В других местах реальные картины жизни этого тяжкого года — есть, и немало, и к концу повести всё больше. Сперва только — «рассказни», что в каком-то дальнем лесу засели вооружённые дезертиры — да их и в любом ближнем хватало, и самим анархистам туда бы бежать. Но, признаётся: газеты из Москвы «были наполнены горечью и смятением. Не было хлеба, не было железа. Были голод, смерть, ложь, жуть и ужас». Впрочем, и тут рядом «в степи есть сёла, которые вымерли дотла. Мертвецов никто не хоронит, и среди мрака ночами копошатся собаки и дезертиры» (и вывод: «Русский народ!»). А простой человек: «Время теперь такое, до всего докапываются». И правда же — идут чекистские аресты в городе. — В комбеде (опять анахронизм: комбеды распушены в ноябре 1918) «собрались одни, кому терять нечего», вот эти — грабят захваченное поместье и жируют. (А предкомбеда до такой степени этим смущён, что не присваивает барские часы, а бросает их в нужник.) К концу видим и реальную жуть железнодорожной товарной теплушки, где люди в перемеси, в навале, в холоде, во вшах и в невольном бесстыдстве «едут неделями». И живейшая картина торга деревенских с городскими: мануфактура на продукты. И продотряд берёт взятки по теплушкам, и заградотряд грабит и бесчинствует. Но и притеснённый, ограбленный мужик после всех жалоб выводит: «Однаке весело, всё-таки, очень весело!..» — И так: «Мы за большевиков стоим, за советы, а вы, должно, камунесты?.. Пошла чесать... сё-таки обидно».

А белые? Да, побывали тут как-то, разрушили шахты, при них заводы остановились. Одно слово о них: «белая чума», на том внимание автора обострилось.

### БОЛЬШЕВИКИ.

Отначала же они представлены нам одой: «Кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) — каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок... Из русской рыхлой корявой народности — лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, — тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологий, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и — баста!» (И, согласно ритмическим приёмам автора, это потом повторяется, почти дословно.) И за что ни возьмутся — возрождение завода? — «это ли не поэма, стократ величавее воскресения Лазаря?!». И достойный представитель этой породы Архип Архипов, который на бумагах пишет «бесстрашное слово: *расстрелять*», любимому своему отцу содействует застрелиться, чтоб он не мучался от болезни, сам «с бородой как у Пугачёва», то ночами зубрит школьный учебник алгебры, экономическую географию, немецкий язык — а доходит до восстановления завода, то вместе с «инженериком» «вырабатывали калибры и допуски нормализации». — А когда подошло время ликвидировать анархистскую коммуны — то на это грязное дело приходят, конечно, не большевики, а какие-то другие революционеры, превратившиеся в бандитов. (Однако столь деликатные, что всю ночь стоят под дождём снаружи дома, пока внутри анархисты веселятся напоследок. В обеих группах — интернационалисты: картаващий Юзик, Герри, Лайтис, Бауден.)

Так легко проходит Пильняк мимо предвидений, за 40 лет до того высказанных Достоевским...

Но у конца повести — примечательно прямо о Китае: «не третий ли идёт на смену?» — то есть после исторической России с таким затхлым правящим классом и безнадежно дикой российской деревней, и после, вот, этих кожаных курток. Эту мысль, эту «неразгадку» Пильняк несёт через всю повесть, много раз подавая её лишь смутными намёками, загадочными вывертами: Китай-город, три Китай-города (в Москве, Макарьеве и в Ордынине), «солдатские пуговицы вместо глаз» — но — почему? из цензурной ли осторожности? — без исходного материала: и на волос не касаясь участия китайцев на большевицкой стороне в гражданскую войну. (Влияние ли просто идеи Вл. Соловьёва?)

Этому характерно аккомпанирует резкий монолог Глеба Ордынина против Запада — его быта, нравственности, желаний и искусства. «Европейская культура — путь в тупик».

От всей повести всё же — впечатление надуманности. И проходит она и м о многого существеннейшего тех лет.

### ПЕРСОНАЖИ.

Некоторые, как Донат Ратчин (из давней городской династии), — как бы и не описаны. Заявлено, что он ненавидел старое и хотел его уничтожить. Но тут же Доната и убили и — «о нём всё». Стоило начинать?

Зато есть начальник большевицкой охраны Ян Лайтис, неуклонимый в проявлении власти (но очень сентиментальный в переглядывании материнских сувениров из Лифляндии) и с коверканым русским языком. Погулявши с Оленькой Кунц, которая готовила мандаты на право обыска и ареста, он вызывал наряд солдат и шёл арестовывать обречённых. С Оленькой он все дни бок о бок в одном чекистско-советском аппарате, но их вечерняя полюбовка (при уже истасканности Оленьки) дана автором почему-то в торжественных аккордах. (В конце повести буркнуто, что совдеп решил арестовать Лайтиса — но это ничем не мотивировано и дальше не продолжено в действии.)

Кроме упомянутого уже героического Архипа ещё слегка намечены автором старый революционер Семён Иванович, который «говорит о добре сухо и зло, так же, как сухи его пальцы», затем Юзик-Юзэф («я очень люблю жизнь, товарищ Гэгги, — как ты... я не позволю тгонуть меня»), и этот товарищ Герри, канадец, стрелявший по Екатеринославу из пушек.

Довольно странная «неразгадка» (что же хотел выразить автор?) с Семёном Матвеевичем Зилотовым. Сперва узнаём его как сапожника, который как колдун варит какие-то жидкости в подвале, занят масонскими пентаграммами и вместо «ей Богу» употребляет «ей чёрту», а советскую власть называет «хамодержавием». — Позже, со значительным опозданием, уже после самоубийства Зилотова, узнаём его прошлое: великий начётчик, книголюб, но и эсер, в 1917 — солдатский депутат, «разъезжал на штабных мотоциклах с лекциями о республике, о французской коммуне», но сам внутренне — масон. Потом, контуженный снарядом, на месяц терял разум, а затем увлёкся задумкой: «Надо Россию скрестить с Западом, смешать кровь», и вот «на красноармейских фуражках загорелась мистическим криком пентаграмма — она принесёт, донесёт, спасёт». По загадочному ходу мысли он задумал «во спасение России» совокупить Оленьку Кунц в качестве девственницы с Лайтисом и именно в полночь и именно в алтаре монастырской церкви. А узнав, что желаемое произошло не совсем так, — становится «как прибитый кобель», «лицо жалкое и беспомощное», потом поджёт монастырь — и сам выкинулся насмерть из слухового окна горящего здания. — Вряд ли фигура Зилотова просто случайна, для украшения сюжета. Вероятно, как и с Китаем, у автора тут лежит одна из его идей.

Из сочувственных для автора персонажей — Андрей Волкович. Сперва поражаает самообладанием: как легко направляет по ложному следу чекистов, пришедших его арестовывать. Но, когда их избег, эмоциональный взрыв его свободы уходит не в действительность, не в дальнейшее спасение, а: «Ничего не иметь, — быть нищим!.. не знать своего завтра». Встревает в анархистскую коммуну, тут — весь день чистит навоз, изнемогая от зноя; но в часы отдыха не отдыхает, а играет на рояле. Грезит о женщине, однако ни с одной ничего не выходит. (По небрежности раздачи имён Андреем же назван и брат старого Ордынина, вносится путаница — при том, что сходно и мироучствие их.)

Какой-то робкий обыватель Сергей Сергеич, который, однако, хохочет «по-богатырски» (не таким видится). Простенький трудяга Егор Собачкин, уверовавший в марксизм. И колоритнейший дед знахарь, кривой Егорка (если бы вдруг не проявил знание... Шекспира). И, тоже знахарка, порождение его Арина со взрывом ведьмовской страсти.

От Арины надо отличить Ирину, отвергшую Волковича, примкнувшую к анархистам, потом ушедшую к конокрадам в поисках хозяина над собой. Её мироучствие: «Надо уметь задуть челоуека и бить женщину... Пусть вымрут все, кто не умеет бороться. Это сказала я!.. Мне тесно от свободы», «к чёрту сказки про какой-то гуманизм. К чёрту гуманизм и этику, я хочу испытать



всё, что мне дали и свобода, и ум, и инстинкт... Я смотрюсь в зеркало, — на меня глядит женщина с глазами чёрными как смута, с губами, жаждущими пить, и мои ноздри кажутся мне чуткими как паруса».

Но и от Ирины же надо как-то отличить Анну, которая проходит как полутень, «шла в белом тумане, в белом платии», «была в ней прозрачность и трогательность», — она тоже отвергла Волковича, с мужем уже «всё изжито», а в рассуждениях её как-то сливаются и смешиваются: «пугачёвщина, Семнадцатый год, старые церкви и Андрей Рублёв», идеал же: «от всего отказаться, не иметь своего белья». Более ни в чём не замечена, и на том исчезает.

И опять же: ото всех них надо отличать Наталью — единственную спасшуюся из рода Ордыниных — по своей душевной здравости и потому, что «всею кровью своей почуяла, приняла революцию», хотя «горечь полынная — дней наших горечь», однако с тем же однообразным выводом: «надо жить — сейчас или никогда». (Оттого и трудным становится различие в этой женской череде.) «Осызала каждым уголком своего тела огромную радость, радостную муку, сладкую боль», «пила полынную — ту ведьмовскую (опять же...) скорбь». Но и при том же: «Любить нельзя — это пошлость и страдание». Однако смягчается в этом определении и сходится с усердным пугачёвцем Архиповым.

### НОВИЗНЫ И ПРИЁМЫ.

Кажется, приступая к повести, Пильняк поставил себе сверхзадачу: во что бы то ни стало писать всё — по-новому. Да ведь то было время непререкаемых экспериментов! — нельзя писать без них?

Отметнейший приём здесь — повторы: повторы отдельных фраз (в точности или с небольшими вариациями), эпитетов, а иногда и целых эпизодов, целых абзацев из нескольких фраз. Иногда в повтор включается инверсия: «Приходил час военного положения. И когда он пришёл, — военного положения час...» Повторы же используются и для внедрения в читателя какой-либо особо важной мысли (как — предупреждения о Китае, о Китае). А уже «горько пахнет полыньёю» — это через всю повесть десятки раз.

Возникает мысль: взял ли Пильняк этот повтор из себя, как экспериментальную находку, — или это навеяно ему повторами былинными? Предполагаю — второе, так как от былин-то и веет интенсивное вторжение картин природы, и тоже всё с повторами, повторами. И в повторах этих преследуется и несомненно достигается музыкальная ритмичность. Если такая догадка верна, то пильняковская новизна — не фокус, не беспредметность, но укоренена в фольклоре. С этим приёмом соседствуют и накат легенд, и подчёркиваемая древность горы Увек, и прямые куски фольклора (заговор великолепный).

Затем, если это можно назвать приёмом: часто нарочитая смутность изложения, загадочность письма, стремление остаться непонятым или не вполне понятым. (Для того — то отрывистые, малосвязанные мысли, то действие сплошного эпизода даётся как бы пунктиром: пропускаются некоторые элементы, о которых надо догадываться.) В этом — есть несомненное поэтическое очарование. «Сегодня ночь и ещё через миллион лет будет ночь» (замятинская интонация?). «О, книги! Ужели избудет яд ваш и сладости ваши?»

Третий приём, если переходить уже к более техническим. Свои порою весьма длинные фразы, перегруженные ответвлениями (иногда и без этой причины), Пильняк разрывает графически — новой строкой (обычно ещё с добавкою тире, и даже не одного) и глубоким сбросом промежуточной части фразы в виде отдельного абзаца. Например:

«Вот рассказ —

Первое умирание —

— Впрочем, разве в революцию умерло мёртвое? Это было в первые дни революции. Вот рассказ.

Или: «все стали ходить по кругу — —

— Этих глав писание — обывательское!»

(А — зачем так? остаётся непонятым. Это уже переигрыш.) Даже если в длинную-длинную фразу вставляется скобка и, стало быть, эта часть фразы уже выделена, — Пильняк без надобности может выделить её ещё двумя про-

светами и глубоко откинутым абзацем. Это — излишность. Такой сбой обреза текста иногда применяется также и при смене мысли для вставки отдельного фрагмента (например, об Арине-знахарке), или даже, для особой выразительности:

и —  
и —

радость безмерная, свобода! —  
уже почти стиховой приём.

Сложно рассчитанные взрывы: внезапно сбить поток фраз, абзацев — чем-нибудь режущим. Бывают перепрыжки с помощью одних тире, иногда разрывом смысла, иногда — нарушением грамматического согласования. То вплотную рядом ставятся двоеточие и тире. То слово пускается вразрядку для лучшего втолакивания смысла.

К такому перерыву смысла можно отнести и — прибавление к уже оконченной главе, при очень условной ассоциации, большого отрывка из сектантского текста против Креста и Евангелия. Столь же ни к чему пристёгнутая цитата из книги Зилотова.

И затем — ещё много других приёмов, менее значительных, и не всегда с понятной целью. Например: вся подглавка идёт ясно от Андрея, но в конце её, да ещё сбоем обреза, зачем-то добавлено пояснение: «Это — глазами Андрея, поэзия Андрея». И с Натальей — точно так. Или подглавка уже сверху названа, да вразрядку «Глазами Ирины», но тут же и пояснительная сноска пети́том: «Это маленькая поэзия Ирины, её глазами». — Или при частях «триптиха» (весьма шаткого соединения трёх разных тем) пояснения в скобках же: часть «самая тёмная», «самая светлая», «материал в сущности».

Счесть ли нарочитым приёмом опоздалое разъяснение о биографии Зилотова — уже после его смерти? Или (для усиления загадочности?) стык, в *одном* абзаце, по поводу пожара: «— Дон! дон! дон! — бьют колокола, и окна в домах раскрыты. На огороде Зилотова созревают помидоры».

И другие вызывающие стыки в этом роде: «Века сохранили за ним [холмом] своё имя. *И* шёл июль». «Хотели следить за теми сектантами. *И* горько пахло полыньёю» (оба примера сгружены на одну страницу) — снова имитация былинности?

Или — обещания впредь, о чём-то ещё будет сказано. (Впрочем, это — приём весьма старой беллетристики.) Или — подряд два тире (как бывает в иностранных языках вместо многоточия). Иногда многословные перечисления. (Впрочем, тоже не новинка?) Или такие: «Юзик промолчал: — Товарищ Андрей не понимает английский, — сказал Юзик».

Всё это — форма ради формы?

А то, срываясь: описав обобщённо неназванного персонажа — вдруг лобово вставить от автора: «Вопрос один, — по-достоевски, — вопросик: — тот дежурный с разезда (или тот чахоточный, сгорающий в теплушке) — не был ли Андреем Волковичем или Глебом Ордыниным?» Такой намёк, верней, такое обобщение, надо бы дать потоньше. Да и срывается этим описание безликой массы.

Отнести ли к приёмам — примечания от автора: то окончание оборванно-го в тексте стиха? то совсем избыточное пояснение?

Ещё об эпиграфах. Из «Бытия разумного» что-то слишком невразумительно-глубокомысленно, из Блока — поверхностно проходное. А вот к гл. 4 «Кому таторы, а кому ляторы» (коммутаторы, аккумуляторы), мол, и при советской власти равенства нет, — блистательно. (Мне досталось заглянуть в эту книгу ещё ребёнком, как раз на этом месте, — я поразился.) Но вся игра эпиграфа почти не связана с содержанием главы.

Так, наряду с несомненными находками и оживлениями формы, перемежаются эксперименты, не служащие усилению воздействия.

## ОБРАЗНОСТЬ.

В духе всего отмеченного — разумеется, Пильняк щедр на образы, и они естественны в ткани повести и часто свежи.

«Лицо старика походило на избу, как соломенная крыша падали волосы». «Глаза хозяина уросли в бороду», «с бородою от глаз». — «Шляпы как глиня-

ный таз» у мордвы. В деревенской избе «полдюжины ржанных ребят, в углу свинья, в красном углу... генерал и царская фамилия»; «поблескивали глаза красными отсветами лучинного красного света» — и это тоже повторяется. «Беззубо стоят книжные полки без книг» в помещицьем доме («кои давно уже вывезены в совет»). Теплушечный поезд — «томительный и грязный как свинья». «Перо держал топором» (большевицкий активист). Борис от упадочно-нервного состояния — в июне «прижимается к мёртвому печному холоду», к нетопленной кафельной печи. «Камин горел палево». «Мысли толпятся как пёстрые бабы на базаре».

Но в подавляющем числе образы обращены не к наружности или психологии персонажей, а — к природе, что и связано живо со всей музыкальностью повести. «Белая конница облаков». «Небо умирало огненными развалинами облаков», эти «огненные развалины меркли, точно угли, покрывались пеплом». При зное «сухо блестели потускневшим серебром — трава, дали, воздух»; «дрожали дали мелкой знойной дрожью»; «дни походили на солдатку в сарафане в тридцать лет» — и этот образ потом несколько раз настойчиво повторяется в соответствии с эротическим подслоем повести.

Поначалу кажутся очень хороши описания зноя. Вот еще: «Улицы, церкви, дома, мостовые: плавились в воздухе и трепетали едва приметно в расплавленном иссиня-золотом воздухе» (только зачем поставлено двоеточие?). Но очень скоро этот зной становится слишком повторителен и избыточен — да ещё ведь для явно северной местности, — «зной знойных июлей» якобы от года к году, — да в той местности бывали ж июли и другие? Навязчиво о зноях и зноях, как будто действие в Африке. Уже и «звёзды старого серебра, испепелённые зноем». (Впрочем же: былина и требует повторов.) Со звёздами и луной Пильняк вообще сильно произволен: «платиновые июньские звёзды» и «серебряные июльские» — ну, уж так ли? — И в эти устойчиво знойные, неоступно знойные дни — луна поднималась, «укутывая мир влажными бархатами и атласами», — и с такой же повторностью нагнетаются ночные «мути и туманы», ни одного вечера и утра без них. (Автор отдался своей задуманной ритмике и подчинён ей.) «В мутке рассвета мутные блики ложатся на пол и потолок» — вполне бы единичный образ? Нет, все кряду рассветы, сумерки и ночи: ночами непременно «ползут туманы», «серые туманы», «серая муть». Тут уж и «лампады мутные», и «мутно горела свеча», и «мутно мутнеет» жидкость. — Произвол с природой всё решительней: «ночи майские глубоки» — это короткие-то? «а рассветы майские багряны как кровь» (все майские? и только майские?). Сперва, в зной, потекли «жёлтые сумерки», чуть не каждый день и даже до изнурения, потом чередуются с «зелёными сумерками», «зелёным сумраком», и даже всю ночь «болотно зелёные сумерки». (Уж, конечно, обыграны и игры Ивановой ночи, кто только её не обыгрывал, а тут-то она к ладу.) И именно почему-то в июне отмечены «хрустальные и хрупкие июньские восходы». Отсебятно. (В августе для декорации нагнано и две-три грозы в одну ночь.)

Но к осени — своё, и сильно. «Серая наша тоскливая осень, застрявшая в туманных полях, жёлтых суходолах». «Ветер шелестит чёрство и холодно», «взмахи ветра», «свинцовый ветер», «из чёрной щели между небом и степью — дует зимний ветер», «стеклянная маленькая луна», «сизый заморозок», «облака к рассвету должны рассыпаться снегом». И выпал снег, растаял — «и опять осень. Идёт дождь, плачет земля, обдуваемая холодным ветром, закутанная мокрым небом. Серыми ключьями лежит снег. Серой фатой стала изморозь». (Но — и не без неудач: «день посерел как старуха», «сумерки в осень закрывают золотую землю как вьюшка печную трубу» — рационально правильно, а образ не составляется.)

Переход к зиме дан в былинном духе — как шествие Добрыни-Златопояса-Никитича: «Латы его — как воронёная сталь, поржавевшая лесами, посыревшая туманами и всё же чёрствая, чёткая, гулкая первыми льдинками, блестящая звёздами спаек», «звенят застёжками льдинок, белеют плесенью последних туманов». Потом Добрыня «разметал по небесному льду белые звёзды, в безмолвии полегла уставшая земля»; после вторых петухов «меркнувшей свечой светил над крышей месяц, земля посоллилась инеем... деревья стояли как кос-



тяные...». Хорошо же! (И простодушно добавляет натуральную сцену, как девушка вышла из овина по нужде.) Ещё есть хороший пейзаж — «волчьи святки, волчья свадьба» в лунном лесу. — А дальше начинается нагнетание мятелей, мятелей, ибо они же — символ революции. Однако: «мятельные стервы бросаются на лесные надолбы, воют, визжат, кричат... падают дохлые, за ними ещё мчатся стервы, не убывают... а лес стоит, как Илья-Муромец».

И это — последние слова повести. Достойный конец — и в той же былинной мелодии. (И крестьянская свадьба тут — тоже торжество традиции над Голым годом. И корова рождает — победа бытовой жизни. Всё же длинновато цитирование свадебной песни.)

## ЯЗЫК.

Крестьянская речь — не утрирована и всюду хороша. (Например — торг с киржаками.) Но есть сатирический перебор в солдатских записках лектору. А вот из языка большевических активистов — «энегрично фукцировать» — вошло в те годы почти в нарицательное употребление, помню.

Пильняк изыскивает наборы звуко сочетаний то для передачи мятели-революции «гвиуу, гвиуу! шооя, шоооя, гаау, хмуу» — трудно оценить, а вот с переходом на советский акцент — хорошо: «Леший барабанит: — гла-вбум! гла-вбуум! А ведьмы задом-передом подмахивают: — кварт-хоз! кварт-хоз! Леший ярится: — нач-эвак! нач-эвак! (Может быть по рассеянности Пильняк повторяет в другом месте этот звук как звук гидравлического пресса: нач-эвак! — и это очень метко.) — Для передачи чувств в набитой людьми избе: «Ууу. Ааа. Ооо. Иии?»

Непонятно, к чему коверканье (не в народной речи) глагольных форм: «в городе исчезнул хлеб, потухнул свет», «погибнуло» поместье. И сознательно ли или по ошибке употреблена неверная форма (несколько раз!) «солнце знует» вместо «знойт»? И хорошо ли: «долго идёт молчание», «над миром идёт июнь»?

Инверсий в общем не так много (в 20-е годы ими очень увлекались), но и встречаются не редко. Бывают от них и утяжеления.

Удивляет, что уже тогда было выражение: «без дураков».

Чрезмерная игра фамилиями: Бламанжев, Череп-Черепас.

А русский язык Пильняк чувствует отзывчиво и основательно:

чай пьют с пятерён  
дома величавы своим старобытьём  
сапоги забóцали (но слишком часто повторяет так)

улицы обулыжены  
звездападные ночи  
своим обыком  
июлевы ночи  
солнцевые лучики  
извещёванный (вымененный на вещи)  
волчье прибылье  
прибылые волки  
прибаутошники  
во рже  
дать тёку  
шаманиться  
солнцеputь  
мутьянить  
вертепéжины

в за́полдни  
не́мотно  
бу́йничать  
тоско́ванное  
су́водь  
солнстой  
былё (после трав)  
о́зарь  
знóбы — мн. ч.  
ча́дно  
немоготá  
домекнуть  
ворожейный  
облютиться  
звероядина  
окупываться  
возжítь (возобновить жизнь)  
закрóй (горизонт)  
лёг первопуток